

И.З. СЕРМАН

**СВОБОДНЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ**

Воспоминания
Статьи

Москва
Новое литературное обозрение
2013

НАШЕЛ ЛИ ПУШКИН ФОРМУЛУ РУССКОЙ ИСТОРИИ?

Выход «Истории русского народа» Н. Полевого, полемически направленной против «Истории» Карамзина, подтолкнул Пушкина по ходу полемики высказать свое отношение к Карамзину и, что всего важнее и ответственнее, изложить собственную историческую концепцию, не сходную ни с идеями Полевого, ни, как мы увидим, с «Историей» Карамзина. В неопубликованной рецензии на второй том «Истории русского народа» в августе 1830 года Пушкин высказал свое глубокое убеждение в том, что «Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада». Прибегая к описательным выражениям, Пушкин так определил эту формулу: «Гизо объяснил одно из событий христианской истории: *европейское просвещение*. Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие, и, отклоняя все отдаленное, все постороннее, *случайное*, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец рассветающие века»¹.

Определение «европейское просвещение» несомненно обозначает развитие и утверждение правового государства в основных странах Западной Европы, и прежде всего — во Франции. Пушкин, говоря о «формуле» Гизо, имел в виду его нашумевший курс лекций «История цивилизации в Европе» (1828—1830). Как излагает его идею Б. Реизов, «...история цивилизации есть история нравственного совершенствования человечества, проявляющегося во всех явлениях социальной жизни. Нравственная идея в общественной жизни является, прежде всего, идеей права и справедливости»².

Говоря о «европейском просвещении», Пушкин хотел хотя бы косвенно сообщить своим читателям подлинный историко-социальный смысл идеи Гизо, страстного сторонника представительного правления. Видимо, сообразив, что невозможно даже обвиняком об этом упоминать, Пушкин не стал эту статью продолжать. Разъяснив, что в «Истории» Карамзина он принимает только «верное изображение событий», а «нравственные его размышления» не считает заслуживающими внимания, Пушкин тем самым заявил себя сторонником новой исторической школы, ее методологии.

Как известно, интерес к русской истории и возможности ее художественного воспроизведения определился у Пушкина в Ми-

хайловском. Принято считать, что этот интерес проявился у него прежде всего в работе над «Борисом Годуновым». Но еще в письме к брату в первой половине ноября 1824 года Пушкин просит прислать «историческое, сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории». Это скупое, но важное свидетельство о том, что в русской истории Пушкина привлекали такие фигуры, которые отразились в народном сознании поэтически, что объясняет просьбу прислать ему «Жизнь Емельки Пугачева». По-видимому, Пушкин имел в виду книгу «Ложный Петр III, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева» (Москва, 1809)³.

Оба предводителя народных бунтов не могли войти хронологически в «Историю государства Российского», следовательно, Пушкин мог искать сведения о них в специальных и труднодоступных книжных источниках. «История народа принадлежит Поэту», — писал Пушкин Н. Гнедичу 23 февраля 1825 года. В этом же письме он высказался по поводу предисловия Гнедича к его переводу «простонародных» греческих песен. В предисловии Гнедич настаивал на сходстве песен греческих и русских: «Песня например, *Буковалл*, своими сравнениями отрицательными: *Не быков ли то бьют, не зверей ли травят? нет, то бьют не быков* и проч. так сходствует с нашими песнями простонародными, что если б не собственные имена и обстоятельства, нам чуждые, можно бы сказать, что это песня Русская, по Гречески переведенная»⁴. Напоминаю, что Гнедич перевел песни клефов, участников борьбы за освобождение от турецкого ига.

Пушкин понял смысл аналогии, предложенной Гнедичем, и ответил на нее согласием в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова», напечатанной в «Московском телеграфе» (1825. Ч. V. № 17). Политический смысл этой статьи становится ясен из аналогии, которую вслед за Гнедичем развивает Пушкин: «Г. Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке <...> Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому Богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на поработанный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко» (11, 32).

Эти как будто разрозненные замечания, в сущности, являются звеньями усвоенной им концепции. В статье 1993 года я показал, что Пушкин, познакомившись на страницах «Московского телеграфа» с изложением идей Баранта и с отрывками из его

«Истории герцогов Бургундских», воспринял его метод: «Манера изложения у П. Баранта действительно должна была удивить Пушкина своей новизной. Историк совершенно устранился, он как бы разрушил временную дистанцию между читателем 1820-х годов и событиями начала XIV века. Но, разрушив дистанцию хронологическую, историк заставил читателя почувствовать с необыкновенной силой дистанцию психологическую между нравами, обычаями и представлениями о жизни людей XIV и XIX веков <...> Новизна книги Баранта заключалась не только в манере изложения, но и в стремлении показать эпоху через ее собственное самосознание, совершенно несходное с самосознанием людей XIX века»⁵.

В работе над исторической трагедией о Смутном времени Пушкин «самосознание эпохи» сделал центральной темой, воспользовавшись для этого методологическим опытом новой историографии, и в первую очередь — «Историей герцогов Бургундских».

Внимание к самосознанию эпохи помогло мне обнаружить в народном сознании, как его понял Пушкин, странное и для нас непонятное сочетание. «...Ведь в трагедии Пушкина, — писал я тогда, — народ свято и незыблемо убежден в том, что Борис Годунов убил царевича Димитрия, и он преступник. Но как только Григорий объявил себя спасшимся от рук убийц царевичем Димитрием, ситуация переменялась самым неожиданным и непостижимым для нас образом. Теперь народ верит, что появился настоящий, живой царевич, тот самый, которого хотел убить Борис Годунов! Казалось бы, это значит, что Борис не убийца? Нет, в народном сознании, как это показывает Пушкин, абсолютно нелогично, полностью противореча друг другу, сосуществуют две взаимно несовместимые идеи. Ведь если царевич Димитрий жив, и он действительно царевич, а не “самозванец”, то это значит, что Борис его не убивал, он не царубийца и вообще не преступник <...> По Пушкину, народное сознание руководствуется не причинно-следственными отношениями или правильными представлениями в своей оценке Бориса или в своем отношении к царевичу Димитрию (самозванцу)»⁶.

Однако я тогда не отметил в народном сознании и поведении сосуществования еще двух разнонаправленных стремлений или, вернее, чувств. В сцене «Лобное место» по призыву мужика на амвоне народ несетя толпою с криками: «Взять! топить! Да здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса Годунова!» В сцене «Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца» в народе звучат два противоположных чувства по отношению к детям Годунова:

Один из народа.
Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке.
Другой.
Есть о ком жалеть? Проклятое племя!
Первый.
Отец был злодей, а детки невинны.
Другой.
Яблоко от яблони недалеко падает.

Такое эмоциональное двухголосие открыто Пушкиным не по материалам «Истории государства Российского», где о нем ничего не говорится. Оно означает, что Пушкин уже усвоил представление о противоречивости народного сознания, о сосуществовании в нем одновременно милосердия и жестокости. Такое представление объясняет появление у Пушкина настойчивого интереса к восстанию «Стеньки Разина» и его намерение опубликовать три песни, среди которых были им самим сочиненные. Современное содержание российской истории, то есть спонтанные проявления народного недовольства, подкрепило те наблюдения, которых смысл он выразил уже в «Борисе Годунове».

Я не привожу откликов Пушкина на «беспорядки» 1831 года, поскольку они важны не столько содержанием, сколько отношением Пушкина к ним. Они заставили Пушкина снова задуматься над природой народного бунта, тех «беспорядков», которыми сопровождалась эпидемия холеры 1831 года.

Характерно для общественных настроений того времени ответное письмо П. Осиповой на сообщение Пушкина об этом бунте и сопровождающих его «ужасах»: «И мы слышали, увы! о волнениях военных поселений... Вы правы, говоря, что они не нужны. Но пока храбрый Николай будет держаться военщины в правлении, — все пойдет из огня да в полымя — вероятно, он не читал внимательно или вовсе не читал историю Византийской империи Сегюра и кой-кого другого, кто писал о причинах падения Восточной Римской Империи»⁷.

Столь пронизательные слова Осиповой интересны еще и потому, что она, по-видимому, рассчитывала на полное понимание и даже, может быть, на сочувствие Пушкина.

Ю. Оксман начинает свою разработку идеологических источников «Капитанской дочки» с изложения сообщений о бунтах, холерном и в военных поселениях. Он приводит, в частности, письмо к Пушкину Н. Коншина, правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии: «Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назад, мой любезнейший Александр Сергеевич <...> Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами

нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русский! Жалеют и истязают; величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами, — и это все вместе. Черт возьми, это ни на что не похоже! Народ наш считаю умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла»⁸.

Вот это сочетание жестокости и благодушия всего больше взволновало Пушкина как итог его, по-видимому, очень важных соображений. То, как эти соображения отлились в художественную форму, видно прежде всего в «Дубровском»:

«Постой, — сказал Дубровский Архипу, — кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их”. Архип победил в сени — двери были отперты, Архип запер их на ключ, при молвля вполголоса: “Как не так, отопри!” и возвратился к Дубровскому». Сцена пожара, в котором сгорают приказные, завершается следующим эпизодом: «В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть, — со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. “Чему смеетесь, бесенята, — сказал им сердито кузнец. — Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь!” — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз».

По-видимому, это удивительное сочетание жестокости и милосердия должно было, по замыслу автора, отразить какие-то неизведанные глубины народного характера, противоречивость его проявлений и их непредсказуемость. Однако как тип, как воплощение сложности народного характера Архип, может быть, способствовал переключению интереса Пушкина от официальной истории Суворова на преданную по приказу Екатерины II «вечному забвению и глубокому молчанию»⁹ историю Пугачева.

Именно интерес Пушкина к различным формам проявления народного гнева внушил ему намерение перевести «Песни западных славян» и привести в «Современнике» два отрывка из «Истории русов». Как историк социального протеста народной массы, занявшись пугачевским бунтом, Пушкин ищет однородных явлений в других славянских странах и находит их у Мериме!

Почему-то никто из исследователей не задумался над тем, по какой причине, собственно, Пушкин назвал свое стихотворное переложение материалов из книги Мериме — «Песни западных славян»? Ведь естественнее было назвать их «Песнями южных славян» — если следовать географии. Предполагаю, что Пушкин назвал их западными для того, чтобы противопоставить их нормы поведения славянам восточным, то есть русским. Противопостав-

ление это распространяется и на другое славянское племя — на поляков. А для того, чтобы показать, в чем разница между славянами восточными и западными, Пушкин взял из «Истории русов» пример неумеренной жестокости, а именно «Казнь Острианицы». Автор так пишет об этой казни: «Казнь она была еще первая в мире и в своем роде, и неслыханная в человечестве по лютости своей и коварству, и потомство едва ли поверит сему событию, ибо никакому дикому и самому свирепому японцу не придет в голову ее изобретение; а произведение в действо устрало бы самых зверей и чудовищ». Я не привожу полное описание этой казни, но отмечу, что самое зверское издевательство над женами казненных цензура «Современника» не пропустила.

Вот эту жестокость без малейшей попытки к милосердию Пушкин показал в тех стихах, в которых он вывел «западных» славян.

Только Н. Измайлов заметил связь между «Историей Пугачевского бунта» и «Песнями западных славян»: «Пушкин не мог не сопоставлять прославленную в песнях национально-освободительную борьбу сербов с крестьянской борьбой под руководством Емельяна Пугачева...»¹⁰

В книге Мериме «La Guzla» «Пушкину открылся особый мир, особый уклад жизни, особая своеобразная психология народа, живущего вне европейской цивилизации XIX века, хотя и в пределах Европы»¹¹.

В «Песнях западных славян» показаны примеры невероятной жестокости. В «Видении короля»:

Бусурмане на короля наскочили.
До нага всего его раздели,
Атаганом ему кожу вспороли,
Стали драть руками и зубами,
Обнажили мясо и жилы,
И до самых костей ободрали,
И одели кожей Радивоя.

Вся эта отвратительная сцена дана как «видение» короля, как предвестие его гибели.

В песне о Янко Марнавиче рассказывается о смерти нечаянного братоубийцы, в песне о «Битве у Зеницы-Великой» — о гибели сербского ополчения, преданного «изменниками далматами».

В песне «Федор и Елена» Федор убивает свою жену и только после смерти убеждается в ее невинности.

Песня о гайдуке Хризиче завершается смертью Хризича и его сыновей, но и после смерти

Головы враги у них отсекли
И на колья свои насадили, —
А и тут глядеть на них не смели,
Так им страшен был Хризич с сыновьями.

И, конечно, поразительна своим героически-этическим тоном «Похоронная песня Иакинфа Маглановича», где господствует твердая уверенность в неизбежной встрече героев после смерти, а жизнь воспринимается только как подготовка к битвам с самого раннего детства:

Умный мальчик у меня;
Уж владеет атаганом
И стреляет из ружья.

Эти нравы и характеры, так похожие на пугачевские, остались не замеченными современной критикой, в том числе и Белинским, не понявшим их смысла. И тут несомненная заслуга их верной оценки принадлежит Достоевскому в его Пушкинской речи.

Пугачев у Пушкина, мирволящий Гриневу во всех его просьбах и матримониальных заботах, простым мановением руки отправляет на казнь своих супостатов — дворян. Такое сочетание милосердия и жестокости в русском человеке было непонятно современникам и явилось художественно-психологическим открытием Пушкина. По мнению Ю. Оксмана, Пушкин «...уже во время своей поездки в Заволжье, Оренбург и Уральск именно в фольклоре нашел недостававший ему материал для понимания Пугачева как подлинного вождя крестьянского движения и свойств его характера как типических положительных черт русского человека»¹². Разумеется, Оксман был прав, когда писал о фольклорном, то есть народном, представлении о Пугачеве, на котором Пушкин построил свой образ Пугачева. Но для того, чтобы сделать Пугачева в романе живым, Пушкин-поэт пришел на помощь Пушкину-романисту. И дело вовсе не в «положительных чертах русского человека», о которых с невольным увлечением пишет Оксман, а в том сочетании жестокости и милосердия, которое проявилось в одном эпизоде «Дубровского», а в «Капитанской дочке» стало нравственным содержанием поведения главного героя романа — Пугачева.

Это сочетание естественной, нерассуждающей жестокости и добродушного милосердия позднее отметил в «Капитанской дочке» Достоевский: «...Казаки тащут молоденького офицера на виселицу, надевают уже петлю и говорят: “Небось, небось” — и ведь действительно, может быть, ободряют бедного искренно, его молодость жалеючи. И комично, и прелестно».

Одновременно с критикой истории Полевого в 1830 году, как известно, Пушкин внимательно читает и делает для памяти выписки из Тьера, Минье и других доступных ему источников по истории Франции с 1789 по 1815 год, то есть по истории революции и империи Наполеона. Зачем Пушкин эти материалы изучал и даже конспектировал? Трудно представить себе, что он собирался писать хотя бы и компиляционную работу о революции. По цензурным условиям это было невозможно, но были и другие причины, мешавшие Пушкину писать о французской революции.

По мнению Г. Фридлендера, «Пушкин, обращаясь к истории французской революции XVIII в., ставил перед собой задачу обосновать собственную свою общественно-политическую программу, сложившуюся после поражения восстания 14 декабря. В этом состояло, думается, ядро задуманной, но не осуществленной им в 1831 г. статьи, посвященной истории Великой французской революции, главные идеи которой тесно связаны с проходящими через всю его жизнь и отраженными в хронологически близких к его замыслу очерках о французской революции заметками о русском дворянстве, его роли в прошлом и будущем развитии России (в том числе в перспективах будущей русской революции)»¹³.

Все соображения Пушкина о роли дворянства в русской истории, соображения, которые он приводил в полемике с Полевым, выдвигавшим купечество как создателя русской государственности, отпали, когда Пушкин занялся «Историей Пугачева», то есть ролью народа в истории государства Российского.

В отличие от Карамзина и от Полевого-историка, так и не дошедших в своих «Историях» по хронологии ни до Стеньки Разина, ни тем более до Пугачева, Пушкин ищет «формулы» русской истории не в борьбе городов или феодалов с королевской властью, а в борьбе народа, то есть крестьянства, с дворянской властью.

Попытка некоторых исследователей¹⁴ обвинить Пушкина-историка в провиденциализме его построений возможна только при одном условии — если мы будем продолжать игнорировать пушкинскую «формулу» русской истории, его убеждение в том, что определяющим моментом этой истории является борьба черного народа против дворянской власти, против дворянского государства. Более того, как мы знаем из записей Проспера Баранта, Пушкин в 1837 году был убежден, согласно своему взгляду на историю России, что в ней неизбежна крестьянская революция...

В «Заметках о России» (записях, которые делались, по-видимому, еще во время пребывания Баранта в России, опубликованных лишь посмертно его зятем, бароном де Нерво) содержится рассуждение, до сих пор не привлечшее внимание пушкинистов. Приведа сначала весьма благоприятные сведения о положении

крепостных крестьян в Российской империи, полученные от таких различных информаторов, как шеф жандармов граф А.Х. Бенкендорф и с 1810 года живший в России француз генерал Потье, Барант затем высказывает сомнения в существовании подобного социального мира между крестьянами и помещиками и фиксирует в своих заметках мнение противоположного свойства:

«Каковы настроения крепостных крестьян и вообще низших сословий общества в этих обстоятельствах? Чувствуют ли они себя несчастными и угнетенными? Зреют ли в их груди недовольство и немая ненависть? Питают ли они тайные, инстинктивные мысли о бунте и мести? Наверное нам это неизвестно. Некоторые умные люди, чье воображение чересчур спешит приблизить будущее к настоящему, объаты страхом жакерии. Это, говорят они, единственная революция, которая может грозить России. Г-н Пушкин, поэт, написал историю пугачевского бунта, где изображает этот бунт именно с такой точки зрения, и я не раз слышал от него, что при определенных условиях резня может начаться снова. Восстание, происшедшее в 1831 году в военных поселениях, относилось, бесспорно, к явлениям того же порядка. Солдаты резали самых любимых своих офицеров, на которых не имели никаких оснований жаловаться, исключительно ради того, чтобы выполнить всеобщее намерение истребить представителей высшего сословия всех до единого. Впрочем, судя по внешней стороне жизни и речам большинства здравомыслящих людей, опасность отнюдь нельзя назвать неизбежной»¹⁵.

Я не берусь настаивать на том, что Пушкин нашел «формулу» русской истории. У меня была другая цель — я хотел определить, к чему пришел Пушкин в итоге своего исследования крестьянского восстания 1773—1774 годов. Ведь смысл известного по записи в его дневнике разговора с великим князем Михаилом Павловичем о неудачном выступлении российского дворянства 14 декабря 1825 года — начиная со слов: «Что касается до tiers état» и кончая словами: «Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» — на мой взгляд, трактуется неверно. Вслед за этой фразой следует ремарка Пушкина: «Говоря о старом дворянстве» и т.д. Предполагаю, что о роли дворянства 14 декабря Пушкин не решился сказать великому князю, а записал в дневнике свои собственные мысли. «Дневник», по настроению, в котором он заполнялся, должен был содержать примечательные факты и суждения самого Пушкина о событиях или действиях правительства. Запись о 14 декабря как о выступлении только дворянства очень тенденциозна и невозможна в разговоре с великим князем.

Как автор «Истории Пугачевского бунта», Пушкин неминуемо должен был пересмотреть свой взгляд на дворянство как основную силу возможного в будущем нового бунта. Г. Макогоненко полагал, что «открытая Пушкиным трагедия русского бунта не позволяла приблизиться к пониманию судьбы будущей революции. На этот вопрос ни история, ни современность ответа не давали <...> Великая крестьянская война, возглавлявшаяся Пугачевым, — это исторически оправданная и важнейшая в истории России акция народа»¹⁶.

По свидетельству Баранта, Пушкин думал о неизбежности новой крестьянской войны (жакерии) и, следовательно, в ней видел ключ к «формуле» русской истории XIX века, то есть очень к ней приблизился.

Жестокость, отмеченная Пушкиным в крестьянских бунтах, больших и малых, в Пугачевском восстании и в холерных бунтах 1831 года, заставила его посмотреть на «народ», то есть на русское крестьянство, без всякой идеализации, без всякого умиления. Пушкин понял, что «русский бунт», о котором его персонаж в «Капитанской дочке» думает, что он «бессмысленный и беспощадный», на самом деле имеет очень определенный смысл — полное уничтожение всего дворянского сословия, а следовательно, объясняет и его «беспощадность».

Когда Пушкин говорил Баранту о неизбежности «жакерии», то он основывался на опыте Пугачевского восстания, о котором писал в «Замечаниях о бунте», предназначенных лично царю: «Весь черный народ был за Пугачева <...> Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны» (9, 375).

Союз самодержавия и дворянства победил крестьянский бунт в 1773—1774 годах. Победит ли он в будущей жакерии? Как писал Макогоненко, «во взглядах Гринева много важного, основательного — например, традиции дворянской чести. Разрушение этих традиций и страшно, и тревожно»¹⁷. В этом разрушении видел Пушкин главную опасность и предвестие возможного краха самодержавия. Таков был его подступ к «формуле» русской истории.

Иерусалим

2007 г.

¹ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949. Т. 11. С. 127. Далее ссылки на это издание в тексте.

² Реизов Б.Г. Французская романтическая историография. Л.: Изд. ЛГУ, 1956. С. 190.

³ Об этой книге см.: *Блок Г.* Пушкин в работе над историческими источниками. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949. С. 81—89.

⁴ Простонародные песни нынешних греков. СПб., 1825. С. XXXIII.

⁵ *Серман И.З.* Пушкин и новая школа французских историков (Пушкин и П. де Барант) // Русская литература. 1993. № 2. С. 133—135.

⁶ *Серман И.* Парадоксы народного сознания в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» // Russian Language Journal. Русский язык. Michigan State University. Winter 1981. Vol. XXXV. № 120. P. 84—85.

⁷ *Пушкин А.С.* Письма. Т. III. 1831—1833. М., 1999. С. 371.

⁸ *Оксман Ю.Г.* Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка» // Пушкин А.С. Капитанская дочка. М.: Наука, 1964. С. 151.

⁹ *Овчинников Р.В.* Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и его сподвижниками. М.: Институт российской истории РАН, 1995. С. 187.

¹⁰ *Измайлов Н.В.* Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. С. 233.

¹¹ Res traductonica P. 130.

¹² *Оксман Ю.Г.* Указ. соч. С. 194.

¹³ *Фридендер Г.М.* Вольность и закон (Пушкин и Великая французская революция). Л., 1990. С. 173.

¹⁴ См.: *Depretto C.* Á propos de l'istorisme (istorizme) puoshkinien // L'universalité de Puoshkine. Paris, 2000. P. 238—247.

¹⁵ *Мильчина В.* Пушкин и Барант // Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб.: Гиперион, 2004. С. 442—443.

¹⁶ *Макогоненко Г.П.* Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836). Л.: Художественная литература, 1982. С. 417.

¹⁷ Там же. С. 380.